

Писатель Андрей Битов широко известен не только в нашей стране — его книги переведены на многие языки мира. Битов — лауреат Пушкинской премии (Германия) и двух Государственных (Россия), президент Русского ПЕН-клуба...

— Андрей Георгиевич, недавно в вашем творчестве появился новый жанр — вы читаете вслух черновики стихов Пушкина в сопровождении джазового ансамбля, назвав это «Пушкинским джазом». Вообще кто-нибудь читал на публику черновики поэта?

— Нет, это мое изобретение. Кто-то мне говорил, что когда-то Яхонтов читал черновики Гоголя. Я об этом не знал. Родилось все спонтанно, раньше были опыты с чтением собственных текстов под джаз. Но это мне нравилось меньше, потому что есть тут некая важность, которой я не люблю. И в мае прошлого года перед Нью-Йоркской аудиторией музыканты импровизировали, а я впервые читал черновики «Бесов», «Бессонницы»...

— Почему Пушкин?

— Да потому, что ни у кого нет таких мощных черновиков. Я уже четверть века думаю о том, как бы написать о его черновиках, и не находил способа. Потом вдруг нашелся — музыкальный. Ведь идея должна еще быть зрелой. У меня нет ни одной книги, которая писалась бы меньше двадцати лет. Это не значит, что я так долго писал каждую вещь — обдумывал, откладывал, готовился. А пишу я быстро и сразу набело. И верю в такие устаревшие и ныне не употребляемые в критике и литературоведении вещи, как вдохновение. Например, роман «Пушкинский дом» написан, наверное, за два с половиной месяца, а растянулось это на семь лет.

Так я думал и о черновиках Пушкина, удивлялся им, а потом вдруг это вызрело в готовую продукцию.

— Слушаешь ваш «Пушкинский джаз», и может быть, впервые понимаешь, в каких адских мучениях творил поэт свои легкие и гениально простые строки.

— Ну, конечно. Настоящий текст дается тяжелейшей работой души. Мы же привыкли: легкий, гений, талант. Как будто это ничего ему не стоило. Еще каких затрат стоит! Обязательства перед гением повергают носителя этого гения под огромные даже физические перегрузки — он же еще и просто человек. Где-то я читал, как Пушкин сказал о своем творчестве, что легко, легко, да все кости болят...

— А как же «веселое имя Пушкин»?

— Это тоже сказано не без справедливости. Потому что в России всегда так тяжело, и Пушкин, особенно в советское время при отмене Господа Бога, стал принимать черты почти Христа — и погиб трагически, и т.д. В общем, Пушкин — «наше все», потому что у нас ни черта нет. Вот и сейчас предвижу много безобразия — бедного Александра Сергеевича еще раз замучают на юбилее. Кризис, тупик, выхода нет, и за Пушкина просто хватаются в надежде, что он нам поднимет сразу и моральный дух, и объединит страну, и еще что-то. Не замечая, что все-таки Пушкиным страну не накормишь и порядка не наведешь. Думаю, это от отчаяния.

Сейчас участвую в постройке книги о пяти юбилеях — как в них отразились мы. Это будет нелюбимая картинка, но надо же нашему менталитету немножко пощекотать до хлесткости.

— Замысел благородный. Но поймут ли вас? Принято считать, что вы писатель элитарный, что массовый читатель вас не понимает. И действительно, ваш читатель ведь совсем не тот, что зачитывается бульварными романами. Для кого вы уже 40 лет пишете свои книги?

— А я не считаю себя элитарным. Кроме того, об элитарности

у нас извращенное представление. Это советской пропагандой, элитарное признано каким-то высокомерным словом. Но элитны-

таю, что в моих книгах нет ничего трудного для понимания. А что такое свободный человек? Это человек не готовый, не обремененный стереотипами. Иначе ничего и не полезет, потому что он с одной меркой, а в книге — другая. А свободный человек принимает правила игры. И тут есть еще такая закономерность: человек, который читает хорошую литературу, становится свободным. Внутренняя свобода — это особое состояние. Оно не связано с политикой, общественным строем и бы-

лась сама идея книги. Это не просто килограмм бумаги с текстом, а некий цельный объект. Я выпускаю иногда совершенно раритетные книги, и постепенно вокруг собираются такие же чудачки. Например, издательство Ивана Лимбаха в Ленинграде образовалось с выпуска моей книжки «Оглашенные», которая уже собрала все полиграфические премии.

— В предисловии к одной из своих книг несколько лет назад вы написали, что уже 33 года не живете, а пишете. Это только слова ради?

— Наверное. И вне контекста это нельзя воспринимать — значит,

Труд - 1999 - 15 янв. - с. 6

И ТОГДА АНГЕЛ ПОВЕЛ МЕНЯ В ПИВНУЮ

ваует у верующих, у поэтов и просто у людей, в которых так или иначе присутствует и поэт, и верующий.

— Вы говорили, что пишете сразу набело. Представим, что ваши черновики будут изучать.

— Это будет почти то же самое, что чистовик, — я правлю в общем два-три слова на странице. У меня забрали уже часть черновиков. И черновик

«Пушкинского дома» лежит в Пушкинском доме. Забавная, кстати, история. Это были времена скандала с «Метрополем», мой «Пушкинский дом» не печатали и вообще это был тяжелый период в моей жизни. Пришли молодые архивные юноши с жадной завистью к меня архивную единицу — на члена Союза писателей она полагалась. Зная ситуацию, про себя они думали, что меня скоро выкинут из Союза и другого шанса не будет. А однажды заведенный архив уже хранится вечно. И они добились того, что рукопись «Пушкинского дома» оказалась в архиве.

— Но вас не исключили из Союза писателей.

— Нет, я отказался от этой чести. Я хотел остаться в стране, а исключение автоматически вело к эмиграции.

— Какое время, Андрей Георгиевич, вы считаете своим — шестидесятые годы, восьмидесятые, девяностые?

— У каждого десятилетия было свое лицо, и каждое из них было моим.

— Хорошо, тогда что изменили в вашей жизни девяностые?

— Прежде всего для меня открылся мир, который был закрыт до этого. Я много езжу и за последние 12 лет, как меня выпустили за границу, получил, считаю, позднее образование. Было такое расхождение советское выражение, что писатель должен отражать жизнь своего народа, страны. Нечего, мол, по границам ездить. Да куда он денется? Он неизбежно ее отражает, если не в тексте, то личной судьбой.

Для меня девяностые — годы повышенной самостоятельности. Если раньше надо было противостоять строю, цензуре, соцреализму и, может быть, временами это было даже опасно, но сложно это не было. А с 1991 года, с обвалом цен и прочего, мне пришлось сохранить экономическую самостоятельность — с тех пор я не живу на советские деньги. Зарабатывал как профессор, кое-что поступает от переводов. Только сейчас начинают платить здесь, и я каждый раз с удивлением это обнаруживаю. До 96-го года я даже не тратил на это время — мне важнее был факт выпуска книг, чем реальный доход. И раз уж я выступаю как бы сам себе спонсором, то книги хочу видеть оформленными, составленными и выпущенными в соответствии с моей волей и желанием. Считаю, что сегодня возроди-

там такое настроение, такая тональность. Но в каком-то смысле это так. Потому что единство текста и жизни — все-таки очень настоятельная вещь. И кто знает, когда текст переходит в жизнь, когда жизнь — в текст...

— Сегодня вы издаете свои книги, как вам хочется, свободно ездите по всему миру, словом, живете, как считаете нужным или как получается. Не возникает тревоги, что все это в нашей стране в один непрекрасный день может кончиться?

— Конечно, время сейчас очень опасное. И, конечно, страшно. Иногда, например, когда погода плохая, настроение скверное, с женой поругался, да мало ли... И не дай Бог, еще заглянуть в телевизор!

Я никогда не читаю газет, не слушаю радио, практически не смотрю телевизор — не слежу за новостями. Все равно ведь все знаю, потому что живу здесь, общаюсь и так или иначе все доходит через кожу, через ухо. Такой аполитичный подход помогает мне сохранить часть нервов. И тогда я могу верить в последовательность слов, которые пишу.

— Ну а наши левые, правые — вы их различаете?

— Да нет. Помните, в «Окаянных днях» Бунин беседует с крестьянином, который пережил уже несколько смен власти во время гражданской войны — то белые, то красные, то белые, то красные. Он спрашивает: а с кем лучше? А тот говорит, что и те, и те — сволочи...

Я не знаю такой партии, в которой состоял бы, но знаю такие партии, в которых я бы не состоял.

— Среди ваших близких были, наверное, искренние, или, как говорили, настоящие коммунисты?

— Никогда. Хотя среди знакомых, конечно же, были. Теперь, когда это все отошло, я понимаю, на чем полагался даже порядочный и хорошего происхождения человек. Думаю, что многие из той интеллигенции, которые якобы приняли революцию... Ничего они ее не приняли. Но они стали государственниками. То есть приняли сторону большевиков, потому что все-таки — это государство и внутри него можно делать полезные дела. Но во мне и этого не было. Я нашел себе вольное занятие, которое позволило не служить нигде, где бы партийная система коснулась меня впрямую.

Но один раз, когда мне было 25 лет и вышла моя первая книжка «Большой шар», сразу замеченная критикой, ко мне «подъехал» секретарь парторганизации и сказал: «Не зашел бы ты, Андрей, поговорить?». Я даже не понял, зачем он пригласил, но настолько у меня глубокое подсознание, что почему-то я пошел напил, попал в вытрезвитель — и вопрос отпал. Ангел повел меня в пивную.

— То, что долгие советские годы вас мало и редко печатали, к тому же под бдительным оком

цензуры, редатуры, наложило какой-то жесткий отпечаток на ваш характер? Злости добавило?

— Нет. Я настолько презирал систему, что чего ж на нее было злиться? Никогда не ждал от нее справедливости. И когда удавалось напечатать вещь, которую не очень-то хотели издавать, то чувствовал себя хитроумным победителем. А в общем-то, конечно, переживал немного, что каждый раз я находился уже на следующем уровне развития, а издавались вещи более ранние. Обидно было, что меня не видят в полном блеске и красе, но стыдно за свои тексты тоже не было. В общем, с опозданием, как правило, лет

на десять печатали. И в 1976 году я достиг какого-то потолка, предела — вышли две большие книги «Дни человека» и «Семь путешествий». А потом уже началась другая судьба — с «Пушкинским домом», с альманахом «Метрополь»... Конечно, требовалось терпение. Помню, я всегда гордился больше тем, что мне удалось напечатать, чем тем, что я это написал.

— А сейчас?

— Сейчас можно напечатать раньше, чем написал. Например, моя последняя книга в издательстве «Вагриус». Последний текст, который туда вошел, помечен 26 мая прошлого года, и писал я его на вручении Пушкинской премии. Вел собрание и одновременно писал эту связочку, чтобы отдать ее сидящему в зале редактору — книжка уходила в набор. А в начале сентября я уже подписывал ее читателям. Три месяца до окончания книги до ее продажи — это, конечно, переживание нового порядка.

Нет, это время не без подарков, несмотря на все его сложности. А главный подарок — то, что слово «проект» можно все-таки выполнить. Удалось помочь установить памятник Мандельштаму во Владивостоке, отметить 60-летие его гибели. В 2000 году надеюсь поставить памятник Зайцу, тому самому, что перебежал Пушкину дорогу в 1825 году. Проектов много... Сейчас, например, меня вовлекают в проект социологический — собрать биографии бомжей, как они сами рассказывают свою жизнь.

Знаете, я ведь тоже живу по-бомжовому, только я божь высокопоставленный, с кредитной карточкой. Как выходит, что больше недели в одном месте не нахожусь — либо в Ленинграде, либо в Москве, либо во Владивостоке, либо за границей. Как пойдет. Легко беру старт и уже перестал даже собираться в дорогу.

— А как же дом — моя крепость, тепло домашнего очага?

— Это я всегда стараюсь построить. Я очень люблю дом, каждый раз строю его, а потом оказывается, что он уже не мой. Так получается. У меня четверо детей, все от разных браков. Я их всех очень люблю и за всех отвечаю. А сейчас у меня жизнь на два города. Семья в Ленинграде, и там — дом. А здесь, в Москве, как бы пристанище. Такое вот сочетание бродяжничества с домом. И то я тоскую по дому, то бегу от него. Это не всегда устраивает домочадцев. Потому что есть какой-то образ того, как надо жить. Но как надо, не бывает — это наши ложные представления. Все живут нелегко, и этих лубочных картинок о счастье и достатке нет вообще в природе. Просто люди больше кажутся, чем есть. А жизнь надо принимать такой, какая она есть. И для этого вполне достаточно, чтобы все были здоровы и любили друг друга...

**Юрий ЛЕПСКИЙ,
Ольга СОЛОМОНОВА.
Фото Михаила ЛЕМХИНА.**